

# ОСНОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Во всех сферах человеческой жизни наука является гораздо позднее практики, систематическое исследование способов, по которым действуют силы природы, бывает поздним продуктом долгого ряда усилий обращать эти силы на служение практическим целям. Политическая экономия, как отрасль науки, возникла очень недавно. Но предмет ее исследований необходимо был во все века одним из главных практических интересов человечества, иногда чрезмерно заслонявшим собою все другие интересы.

Этот предмет — богатство. Экономисты поставляют целью своей науки исследования о сущности богатства, законах его производства и распределения. Прямо или косвенно в этот круг входит изложение всех причин, от которых зависит хорошее или дурное состояние человечества вообще или известного человеческого общества по отношению к предмету всеобщего желания людей, богатству. Трактат о политической экономии не может ни разобрать подробно, ни даже перечислить всех этих причин; но он должен изложить наши сведения о законах и принципах, по которым они действуют.

Что такое богатство, об этом каждый имеет понятие достаточно правильное для обыкновенной речи, и никто не смешает исследований о богатстве с исследованиями о каком-нибудь другом из великих человеческих интересов. Все знают, что быть богатым — дело одного рода, быть просвещенным, мужественным или гуманным — дела иного рода; что вопросы о том, отчего нация становится богата, совершенно различны от изысканий о том, отчего она становится свободна, или нравственно хороша, или славна литературою, изящными искусствами, оружием, политическими учреждениями. Правда, все эти вещи косвенно связаны между собою взаимным влиянием. Народ становится иногда свободен оттого, что стал богат, иногда богат оттого, что стал свободен. Вера и законы народа имеют могущественное влияние на его экономическое состояние: оно, в свою очередь, через влияние на умственное развитие и общественные отношения народа, действует на его веру и законы. Но при всей связи между собою эти предметы существенно различны, и никто в том никогда не сомневался.

Здесь не нужно хлопотать о тонкой метафизической строгости определений, когда понятия, возбуждаемые терминами, имеют и без того точность, удовлетворительную для дела. Но как ни трудно было бы ожидать вредной смутности понятий по предмету столь простому, как вопрос о том, что должно считаться богатством, история говорит, что эта смутность понятий существовала; мыслители и государственные люди одинаково страдали ею, и было время, когда они все страдали ею; и в продолжение нескольких поколений она давала совершенно ложное направление европейской государственной жизни. Я говорю о теории, которую со времени Адама Смита стали называть меркантильною системою<sup>5</sup>.

Во время господства этой системы над всей государственной жизнью явно или тайно властвовало предположение, что богатство составляют единственно деньги или драгоценные металлы, которые можно прямо превратить в деньги. По тогдашним понятиям, все, что ведет к накоплению в стране денег или вообще золота или серебра, обогащает ее, а от всякого вывоза драгоценных металлов страна беднеет. Если в ней нет золотых или серебряных рудников, она может обогащаться только одною отраслью промышленности, внешнею торговлею, которая одна может вносить в нее деньги. Если предполагалось, что известная отрасль промышленности уносит из страны больше денег, нежели вносит в нее, она считалась убыточною, как бы велико и ценно ни было ее производство. Вывоз товаров покровительствовался и поощрялся (даже средствами, очень обременительными для истинных источников богатства страны), потому что уплата за вывозимые товары считается на деньги, и тогда воображали, что она действительно будет произведена золотом и серебром. Думали, что при ввозе чего бы то ни было, кроме драгоценных металлов, нация теряет всю цену ввезенных вещей; исключение составляли только вещи, ввозимые для того, чтобы быть вывезенными обратно с прибылью, и материалы или инструменты для промышленности, производящейся в самой стране, потому что они дают возможность увеличивать вывоз, дешевле производя вывозные товары. Всемирная торговля считалась борьбою наций из-за того, которой между ними удастся забрать к себе наибольшее количество золота и серебра; думали, что в этом состязании нация выигрывает, только нанося убыток другим или отнимая у них выгоду.

Всеобщее убеждение одного века, — убеждение, от которого никто не был тогда и без чрезвычайных усилий гения и мужества не мог стать свободен, — часто становится за последующего века такою осязательною нелепостью, что трудно делается вообразить, как могли когда-нибудь верить подобной вещи. Так случилось с учением, что деньги и богатство — синонимы. Теперь кажется, что нельзя смотреть как на серьезное мнение, на такую вздорную несообразность. Она кажется похожею на нескладные фантазии детства, мгновенно разрушаемые одним словом взрослого человека. Но пусть никто не говорит, что избежал бы этого заблуждения, если бы жил во времена его владычества. Все мысли, возбуждаемые обыкновенными житейскими делами каждого, были в пользу такого мнения, и пока эти мысли служили единственными основаниями соображений, казалось аксиомою то, что является теперь грубейшею нелепостью. Правда, как только подвергли критике эту иллюзию, она исчезла; но никому не могло прийти в голову подвергнуть ее критике, пока ум его не свылся с особенными приемами исследования экономических феноменов, вошедшими в обыкновенный образ мыслей только благодаря влиянию Адама Смита и его комментаторов.

В обыкновенной речи богатство всегда оценивается на деньги. Если вы спросите, как богат такой-то, вам отвечают, что у него столько-то тысяч фунтов. Все доходы и расходы, барыши и убытки, все перемены в богатстве считаются за получение и трату известного количества денег. Правда, что в счет имущества человека вносят не только деньги, которые он имеет наличными или должен получить, но и все другие вещи, имеющие ценность; но эти вещи считаются не сами по себе, а по суммам денег, за какие можно продать их, и если бы они стали продаваться дешевле, их владелец считался бы менее богат, хотя сами по себе эти вещи остались бы прежние. Правда также, люди богатеют не тем, что держат деньги без употребления, а надобно расходовать их для получения прибыли. Человек, обогащающийся торговлею, богатеет тем, что, отдавая товары за деньги, отдает и деньги за товары; вторая часть в этом обороте так же необходима, как и первая. Но, покупая товары для барыша, он покупает их для того, чтобы опять продать за деньги, покупает в ожидании получить за них больше денег, нежели заплатил. Потому получение денег даже ему самому кажется окончательною целью всех оборотов. Часто он получает уплату не деньгами,

а тем, что берет другие товары на ценность, равную ценности проданных им. Но он принимает их в уплату по денежной оценке и только в предположении выручить за них больше денег, чем за сколько передаются они ему. У торговца, имеющего обширные и быстрые обороты, в наличных деньгах всегда находится только небольшая часть капитала. Но он ценит свой капитал лишь в той мере, в какой может обратить его в деньги; он считает каждый оборот законченным лишь тогда, когда чистый результат оборота уплачен ему в деньгах, или высчитан в долгу на ком-нибудь также в деньгах. Когда он выходит из дел, он обращает весь капитал в деньги, и только тогда считает себя реализовавшим приобретенное торговлею состояние. При всех этих делах деньги считаются будто бы единственным богатством, а другие вещи, стоящие денег, только средствами к их получению. Можно сказать: деньгами дорожат только потому, что они служат на удовлетворение потребностей и на доставление удовольствий себе или другим. Но поборник меркантильной системы нимало не затруднится этим возражением. Правда, скажет он, таково назначение богатства; это назначение очень похвальное, если ограничивается отечественными товарами, потому что, покупая их, вы обогащаете других ваших соотечественников тою самою суммою, какую расходуете. Тратьте ваше богатство на удовлетворение каким угодно вашим желаниям; но богатство не в желаниях; оно в той сумме денег, за которую вы покупаете удовлетворение им, или в деньгах, составляющих ваш доход.

Мы видим, что есть множество поводов, располагающих принимать мнение, которое служит источником меркантильной системы. Есть даже действительное основание делать между деньгами и всеми другими ценными вещами то различие, которому дает она такую громадную важность; основание это не очень сильно и совершенно недостаточно, но оно есть. Мы ценим выгоды, доставляемые человеку богатством, не по количеству полезных и приятных вещей, которыми он фактически пользуется, а по размеру его власти над всею массою полезных и приятных вещей, — мы действительно имеем такой взгляд, и он справедлив: богатство человека измеряется объемом находящейся у него силы удовлетворять всякой своей надобности, всякому желанию, а эта сила в деньгах, и все другие вещи в цивилизованном обществе дают ее, повидимому, только своею годностью к промену на деньги. Владеть какою-нибудь другою ценною вещью значит владеть именно только этою вещью; если вам нужна вместо нее иная вещь, вы должны сначала продать вашу вещь, или подвергаться неудобству и промедлению, отыскивая человека, который владел бы вещью вам нужною и хотел бы променять ее на вашу вещь; а, быть может, такого человека и вовсе не найдется. Но с деньгами вы можете прямо купить какую угодно из всех продажных вещей, и человек, состояние которого находится в деньгах или в вещах, быстро обращаемых в деньги, владеет, по своему и по общему мнению, не одною какою-нибудь вещью, а всеми вещами, выбор между которыми предоставляют ему деньги. На удовлетворение надобностей владельца идет лишь незначительная часть его богатства; главная выгода от всего остального богатства та, что в нем хранится владельцу сила исполнять всякие вообще желания; эта сила дается деньгами гораздо прямее и вернее, чем другими родами богатства. Деньги — единственная форма его, годная не для одной-какой-нибудь надобности, а прямо пригодная на всякую надобность. Эта разница была тем заметнее правительствам, что имеют большую важность для них. Цивилизованному правительству удобно пользоваться только теми налогами, которые собираются в деньгах, и едва ли можно какими-нибудь другими вещами, кроме денег, производить большие и быстрые уплаты, особенно когда они должны идти за границу, на военные расходы или на субсидии, для завоеваний или для отвращения от себя порабощения (а эти две вещи до недавнего времени были главными заботами национальной политики). Таковы причины, располагающие и частных людей и правительства при оценке своих средств придавать почти исключительную важность деньгам и драгоценным металлам, а все другие вещи,

с точки зрения этого расчета, ценить только как отдаленные средства к получению единственной вещи, дающей всеобщую и прямую возможность приобретать все, что угодно, и потому ближе всего соответствующей понятию богатства.

Но нелепость остается нелепостью, хотя бы мы и объяснили поводы, давшие ей вид истины. Ложность меркантильной теории была замечена тотчас же, как люди начали исследовать сущность дел и выводить понятие о них из основных фактов, а не из форм и выражений обыкновенной речи. Как только люди спросили себя, что такое деньги на самом деле, в чем их существенный характер, к чему именно они служат, тотчас же открылось, что деньги, подобно другим вещам, нужны нам только потому, что имеют у нас свое назначение, что деньги пригодны вовсе не ко всякому назначению, а, напротив, имеют свое частное назначение, очень определенное и ограниченное: оно в том, чтобы облегчать распределение продуктов промышленности по пропорции, принятой людьми, между которыми они делятся. Всмотревшись в дело ближе, увидели, что польза, приносимая деньгами, вовсе не увеличивается от увеличения количества денег, существующего и обращающегося в стране; велико или мало это общее количество денег, оно одинаково исполняет свою службу. Два миллиона кварталов хлеба не прокормит столько людей, как четыре миллиона; но при двух миллионах фунтов стерлингов будет произведено столько же торговых оборотов, куплено и продано столько же товаров, как при четырех миллионах, только номинальные цены товаров будут ниже. Деньги сами по себе не удовлетворяют никакой потребности человека; он дорожит ими потому, что они удобная форма для получения всевозможных его доходов, и потом, когда ему нужно, обращает эти доходы в те формы, которые нужны ему. Страна, имеющая монету, отличается от страны, вовсе не имеющей ее, только тем, что делать обороты в ней удобнее, что выигрывается время и уменьшаются хлопоты, все равно как легче молотить хлеб на водяных, чем на ручных мельницах; или, по сравнению, сделанному Адамом Смитом, деньги полезны в том же роде, как пути сообщения; считать деньги за богатство такая же ошибка, как считать шоссе, по которому вам удобнее всего доехать до вашего дома или поместья, за самый ваш дом или поместье.

Удовлетворяя надобности, важной для государства и частных лиц, деньги справедливо считаются богатством; но богатство также и все другие вещи, служащие для человеческих надобностей и не доставляемые природою задаром. Быть богатым значит иметь большое количество полезных вещей или иметь средства купить их. Потому к богатству принадлежит всякая вещь, за которую можно покупать другие вещи, в обмен за которую дадут что-нибудь полезное или приятное. Вещи, за которые ничего не дадут в обмен, при всей своей полезности или необходимости, не составляют богатства в том смысле, какой имеет это слово в политической экономии. Воздух, например, абсолютнейшим образом необходим для нас, но не имеет никакой цены на рынке, потому что получается даром; собирать запас его было бы напрасно и невыгодно; законы его производства и распределения составляют предмет не политической экономии, а совершенно иной науки. Но хотя воздух не богатство, богатство людей чрезвычайно увеличивается тем, что они получают воздух даром, потому что время и труд, которые иначе потребовались бы на удовлетворение настоятельной из наших надобностей, надобности в воздухе, теперь могут быть употреблены на другие надобности. Можно вообразить обстоятельства, при которых воздух сделался бы богатством. Если бы явился обычай жить в таких местах, куда воздух не проникает натуральным образом, например, в подводных колоколах, опускаемых в море, доставление туда воздуха искусственным путем, подобно доставлению воды в дома, имело бы цену. И если бы от какого-нибудь переворота в природе воздуха стало недостаточно для потребления, или если бы воздух мог быть монополизирован, он получил бы очень высокую рыночную цену. В таком случае, если бы у кого-нибудь находился большой запас воздуха, он, за исключением части, нужной самому

владельцу, составлял бы для него богатство; и на первый взгляд могло бы казаться, что богатство человечества возросло от этой перемены, которая была бы столь великими бедствием для людей. Ошибка произошла бы от того, что не было принято в соображение одно обстоятельство: как богат ни стал бы владелец воздуха на счет остального общества, все другие люди стали бы беднее на всю ту сумму, которую были бы принуждены платить за вещь, получавшуюся ими прежде бесплатно.

Это ведет нас к важному подразличению двух значений в слове богатство: оно имеет один смысл, применяясь к имуществу отдельного человека, другой смысл, применяясь к имуществу нации или человеческого рода. Богатство человека составляют только вещи, сами по себе служащие на какую-нибудь пользу или приятность. Для отдельного человека богатством бывает всякая вещь, которая дает ему возможность требовать от других какую-нибудь часть из их запаса полезных или приятных вещей, хотя бы сама по себе была бесполезна. Приведем в пример долговую запись в 1000 фунтов, данных под залог поместья. Запись эта составляет богатство для человека, которому дает она проценты и который может продать ее иногда за полную сумму долга. Но она не богатство для нации, и если бы она уничтожилась, страна не стала бы оттого ни богаче, ни беднее. Кредитор потерял бы 1000 фунтов, владелец поместья выиграл бы их. Для нации долговая запись не была богатством; она только давала А право на часть богатства В. Она была богатством для А; он мог передать ее третьему лицу, — но он собственно передавал бы в ней фактическое право на собственность в 1000 фунтов из поместья, номинальным владельцем которого был один В. Таково же положение лиц, имеющих облигации государственного долга; они кредиторы на счет общего богатства нации. Уничтожение государственного долга было бы не уничтожением богатства, а только передвижением его, незаконным отнятием богатства у одних членов общества в пользу правительства или лиц, платящих налоги. Потому собственность, состоящая в облигациях государственного долга, не может считаться частью национального богатства. Это не всегда помнят составители статистических вычислений. Например, при вычислениях валового дохода, основанных на сумме, доставляемой налогом на доход, иногда не вычитаются из счета доходы, составляемые процентами с фондов; а между тем налогу этому подлежит весь номинальный доход лиц, платящих подати, без вычета той части дохода, которая берется с них разными налогами для образования дохода владельцев фондов. Таким образом, в этом вычислении часть общего дохода страны, считается два раза, и вся сумма дохода нации выходит почти на 30 миллионов фунтов больше истинной\*. Но нация может причислить к

\* Например, в 1843 году количество доходов, подлежащих подати, было около 185 милл. ф. стерл. В этом числе были доходы, получаемые владельцами государственных фондов; проценты по этим фондам составляли около 30 милл. фунтов. Итак, вся сумма доходов делилась по своим источникам на две части: А) 30 милл., даваемых процентами фондов; В) другие 155 милл., получаемые от земель, фабрик, домов и т. д. Откуда же брались казною деньги на уплату 30 милл. процентов? Из податей, то есть с земель, с фабрик, домов и т. д. Стало быть, кроме прямого налога с части В, бралось другими налогами еще 30 милл.; они передавались от владельцев В (земель, фабрик и пр.) владельцами А фондов). Если же владельцы В, имея 155 милл. дохода, платили эти 30 милл. на выдачу процентов по фондам, у них оставалось из 155 милл. только 125 милл. таких доходов, которыми действительно они располагали. Ясно, что цифра 185 милл. чисто номинальная цифра. Собственно всех доходов в стране было не 185 милл., а только 155 милл., из которых 30 милл. попадали в счет два раза: во-первых, они считались, находясь еще у людей, извлекавших эти миллионы из земель или фабрик; во-вторых, тоже считались по переходе из рук этих людей к владельцам фондов.

Поместье, дающее 1000 р. дохода, заложено в 4000 р. по 10%, то



своему богатству все капиталы, которые имеют ее граждане в фондах иностранных государств, и другие долги, которые имеют они на иностранцах. Впрочем, и это богатство только потому составляет богатство для нации, что дает ей часть богатства, принадлежащего другим нациям\*. Оно не составляет части в общем богатстве человеческого рода: это элемент, относящийся к распределению, но не вводящий никакой новой составной части в общую массу богатства.

Некоторые писатели предлагали такое определение: «понятие богатство соответствует понятию совокупность орудий», разумея под орудиями не одни инструменты и машины, а весь запас средств к достижению целей, принадлежащий отдельным лицам или обществам\*\*. Например, поле — орудие, потому что оно средство для получения пшеницы. Пшеница — орудие, потому что она средство для получения муки. Мука — орудие, потому что она средство для удовлетворения голода и поддержания жизни. Тут мы доходим наконец до вещей, которые уже не должны называться орудиями, потому что служат предметами желания сами по себе, а не как простые средства для чего-нибудь иного или высшего. Это понятие логически правильно; или, лучше сказать, это выражение с пользою может употребляться наряду с другими не потому, чтобы давало о предмете понятие различное от обыкновенного, а потому, что дает более ясности и реальности обыкновенному понятию.

Итак, можно сказать, что богатство составляют все полезные или приятные вещи, имеющие меновую ценность; другими словами, все полезные или приятные вещи, кроме тех, которые могут быть в каком угодно количестве получены без труда или пожертвования\*\*\*. Единственное возра-

есть кредитор получает от должника-владельца 400 р. в год. Под прямую подать эти 400 р. могут попасть два раза: владелец получает с поместья 1 000 рублей и, по 1 копейке с рубля, заплатит 10 р. подати; кредитор, получающий с него 400 р., заплатит еще 4 р. После этого, пожалуй, можно высчитать, что сумма доходов обоих этих людей будет 1 400 р. — ведь они платят, по 1 коп. с рубля, 14 рублей. Но дело в том, что с 400 р. по 1 коп. тут заплачено два раза, во-первых, должником, во-вторых, кредитором. У должника дохода остается собственно ему принадлежащего не 1 000 р., а только 600 р.; 400 р. только проходят через его руки, как через руки кассира или управителя, для передачи настоящему хозяину, кредитору.

\* Например, у английского капиталиста, живущего в Лондоне, есть на 200 000 фунтов 5%-ных австрийских облигаций; он получает по ним 10 000 фунтов процентов от австрийского правительства. Эти 10 000 собраны не с англичан, а с австрийцев, потому их получение английским капиталистом не уменьшает доходов никакого другого англичанина; итак эти 10 000 фунтов составляют чистую прибавку к общей сумме доходов, существующей в Англии. Эти 10 000 — часть богатства Англии. Но они взяты из доходов жителей Австрийской империи, потому должны быть вычитаемы из богатства Австрийской империи.

\*\* По-английски это выражение, *instruments*, в применении к богатству так же странно для обыкновенной речи, как выражение «орудия», которым оно переведено у нас. Вместо этого довольно странного выражения «орудия», *instruments*, можно было бы употребить слово «средство», *means*, которое менее шокировало бы непривычный слух. Богатство есть то, что служит средством.

\*\*\* Слова «в каком угодно количестве», *in the quantity desired*, важные потому, что есть вещи, которые в известном количестве получаются без труда, и не имели бы меновой ценности, если бы не требовалось их больше этого количества; но когда требуется их больше того количества, какое дается от природы даром, добавочное количество должно уже быть производимо трудом, и тогда вещь получает меновую ценность. Например, в степях, где на одну лошадь кочевого племени приходится десятки десятин и

жение против этого определения, кажется, то, что оно не включает в себе определенного ответа на вопрос, о котором очень много спорили: должны ли считаться богатством так называемые невестственные продукты? Надобно ли, например, называть богатством ремесленную ловкость работника или вообще все природные и приобретенные силы тела или ума? Но этот вопрос не очень важный, и удобнее будет отложить до другого места (книга I, глава III) разбор его, насколько он заслуживает разбора.

Сделав эти предварительные замечания о богатстве, мы должны теперь обратить свое внимание на чрезвычайное различие по богатству между разными нациями и между разными эпохами; это различие простирается и на количество богатства, и на его характер, и на его распределение между членами общества.

Едва ли найдется теперь такой народ или такое общество, которое существовало бы исключительно теми продуктами растительности, которые вырастают сами собою. Но еще много есть таких племен, которые живут исключительно или почти исключительно на счет диких животных, продуктами охоты и рыболовства. Их одежда — звериные шкуры; их жилища — грубые шалаши, покидаемые ими в одну минуту; пища у них такая, которую нельзя заготовлять надолго, у них нет запасов ее, и часто подвергаются они лишениям. Богатство такого общества состоит лишь из шкур, служащих одеждою, нескольких украшений, любимых дикарями, небольшого количества грубой посуды; оружия для охоты и для драк с соперниками по средствам существования; челноков для переезда через реки и озера или для рыбной ловли на море; быть может, также из нескольких мехов или других продуктов дикой страны, собранных для промена цивилизованным людям за разные безделушки, за водку, за табак: быть может, некоторая часть этих иностранных продуктов остается еще неизрасходованною. К этому скудному списку материального богатства дикого племени надобно прибавить его землю, орудие производства, которую оно пользуется мало по сравнению с более устроившимися обществами, но которая все-таки служит источником его существования и которая имеет продажную цену, если есть по соседству сельскохозяйственное общество, которому нужно приобретать землю. Это состояние — самое беднейшее из всех, в каких существовали или существуют известные нам целые общества людей; но должно прибавить, что есть общества гораздо более богатые, в которых часть населения находится по отношению к средствам продовольствия и житейским удобствам в положении столь же незавидном, как дикари.

Первый великий шаг вперед из этого состояния то, когда делаются домашними полезные животные; из этого возникает пастушеское или кочевое состояние, в котором люди живут не продуктами охоты, а молоком, вещами, приготовляемыми из молока, и годичным приращением своих стад. Это положение лучше прежнего само по себе; мало того, оно ведет к дальнейшему прогрессу, и при нем накапливается гораздо значительнейшая масса богатства. Пока обширные натуральные пастбища земли еще не вполне заняты, пока продукты их не потребляются быстрее, нежели воспроизводятся натуральным образом, можно собирать, сохранять и постоянно увеличивать большой запас продовольствия, почти без всякого труда, кроме того, чтобы стеречь стада от диких зверей и от хищников. Таким образом в этом периоде племя владеет большими стадами; частные люди приобретают их своею деятельностью и бережливостью, а родоначальники колен — деятельностью людей, связанных с ними зависимостью. Итак, в пастушеском состоянии возникает неравенство имуществ, факт, почти не существующий в диком со-

лошади умеют зимою выбивать траву копытом из-под снега, довольно корму производится природою даром; но когда население становится гуще с переходом к земледелию и на каждую лошадь приходится уже гораздо меньше земли, человеку становится нужен труд, чтобы увеличивать количество корма для лошадей или по крайней мере собирать запасы его; тогда сено получает меновую ценность.

стояний, где никто не имеет много избыточного сверх безусловно-необходимого, и в случае недостатка должен даже необходимым делиться с своим племенем. В кочующем состоянии у некоторых так много скота, что они могут прокормить множество людей, а другие не успели присвоить и удерживать за собою лишнего, или и вовсе не имеют скота. Но средства продовольствия перестали быть неверными, потому что людям, ведущим дела успешно, нечего делать с своим излишком, кроме того, как кормить им не столь счастливых, а каждое приращение в числе лиц, связанных с ними, служит для них приращением и безопасности, и могущества. Таким образом, они получают возможность сложить с себя всякий труд, кроме управления и надзора, и приобретать подвластных, сражающихся за них на войне и служащих им в мире. Одно из качеств этого состояния то, что часть общества и в некоторой степени даже все общество пользуется досугом. Только часть времени нужна на приобретение пищи, и остальное время не поглощается тревожными мыслями о завтрашнем дне или необходимостью отдыха от утомления мускулов. Такая жизнь очень благоприятна возрастанию новых потребностей и открывает возможность к их удовлетворению. Возникает желание иметь одежду, посуду, орудия лучше прежних; избыток пищи делает возможным посвятить на эти занятия часть племени. Во всех, или почти во всех, кочующих обществах мы находим домашнюю выделку фабрикатов грубого, а в некоторых и высокого сорта. Есть свидетельства тому, что когда страны, бывшие колыбелью новой цивилизации, находились вообще еще в номадном положении, народы их достигли значительной степени искусства в прядении, тканье и крашении шерстяного платья, в выделке кож и даже в изобретении, по всей вероятности гораздо труднейшем, — в обрабатывании металлов. Даже отвлеченной науке первое начало было дано досугом, составляющим отличительную черту этого состояния общественного прогресса. Первые астрономические наблюдения, по преданию, имеющему большие признаки истины, приписываются халдейским пастухам.

Переход из этого состояния общества к земледельческому состоянию не легок (всякая великая перемена в привычках человечества трудна и вообще бывает или тяжела, или очень медленна); но этот переход дается, так сказать, натуральным развитием дел. Возрастающее число людей и скота стало с течением времени превосходить размер, в каком земля способна доставлять продукты своими натуральными пастбищами. Эта причина без всякого сомнения заставила обратиться к первому возделыванию земли, точно так же, как в позднейший период она заставляла избыток населения в племенах, оставшихся кочевыми, бросаться на племена, уже ставшие земледельческими, и грабить их до той поры, пока они стали достаточно сильны для отражения вторгающихся орд, и, таким образом, лишив вторгающиеся нации этого выхода, принудили их также обратиться в земледельческие общества.

Но когда был совершен этот великий шаг, дальнейший прогресс человечества (за исключением редких случаев совпадения чрезвычайно благоприятных обстоятельств) стал идти не так быстро, как можно было бы предполагать. Количество человеческой пищи, производимое землею, даже при самой плохой системе земледелия, чрезвычайно превосходит массу пищи, получаемой в чисто земледельческом состоянии, так что неизменным результатом перехода бывает огромное увеличение населения\*. Но это прибавоч-

\* Трудно сказать, хотя приблизительно образом, какое пространство земли на каждого человека нужно для добывания пищи племенам, живущим исключительно охотой. Гаспарен (*Cours d'Agriculture*, том V, стр. 231)<sup>6</sup> говорит: «Дичь обильна на равнинах Северной Америки, а между тем они имели не более одного жителя на 99 квадратных километров» (около 87 квадрат. верст, или 9 000 десятин). Это явное преувеличение, но оно может служить все-таки указанием на чрезвычайную разницу между пространствами, нужными для племени дикарей и для племени, перешедшего в кочевое состояние. По Гаспарену (там же, стр. 231 и след.), номадное племя



ное количество пищи получается очень значительным увеличением суммы труда; земледельческое население имеет гораздо менее досуга, нежели пастушеское, и при несовершенстве инструментов, при неискусной обработке (а такая обработка, такие инструменты остаются в употреблении долгое время и на большей части земли до сих пор еще не заменены лучшими) земледельцы не производят сверх своего личного потребления такого большого излишка пищи, чтобы могло поддерживаться большое количество работников, занятых другими отраслями промышленности. Разве только при необычайно выгодных условиях климата и почвы это бывает иначе. Но каков бы ни был этот излишек, велик или мал, он обыкновенно берется у производителей или правительством, которому они подвластны, или частными лицами, которые посредством силы, или пользуясь религиозными верованиями и наследственными чувствами, внушающими земледельцу подчинение им, присвоили себе господство над землею.

Первый из этих способов присвоения, присвоение правительством, составляет характеристическую черту обширных монархий, с незапамятного для истории времени занимавших азиатские равнины. Свойства правительства в этих землях изменяются по случайным особенностям личного характера, но оно редко оставляет земледельцам больше того, сколько нужно просто для поддержания жизни, а часто отнимает у них и это необходимое количество, так что, взяв у них все, что они имеют, оно бывает принуждено выдавать им взаймы часть взятого на посев и на их прокормление до следующей жатвы. При таком порядке дел масса населения живет в лишениях; но правительство, собирая с большого числа людей, понемногу от каждого, получает при малейшей расчетливости возможность блистать богатствами, совершенно несоизмеримыми с общим положением страны. Вот источник закоренелого мнения о великом изобилии восточных стран, — ошибка, которую европейцы поняли только в последнее время. Значительная часть этого богатства прилипает к рукам, занимающимся сбором его; то, что доходит до правительства, разделяется, конечно, между многими людьми, не говоря уже о придворном штате государя. Значительная часть распределяется между сановниками правительства, любимцами и фаворитками государя. Некоторая часть по временам употребляется на общественные сооружения. Резервуары, коледези, каналы для орошения, без которых во многих тропических землях едва ли возможно было бы земледелие; плотины, ограждающие от разливов рек, базары для купцов, караван-сераи для путешественников, — все эти вещи, которых не могли бы сделать своими скудными средствами пользующиеся ими люди, обязаны своим существованием щедрости и просвещенному своекорыстию лучших из числа восточных государей, а иногда добродушию или тщеславию богатых людей, богатства которых, по внимательному исследованию, всегда оказываются

нуждается в  $1\frac{2}{3}$  гектара ( $1\frac{1}{2}$  десятины) земли на душу; при таком состоянии Франция могла бы иметь 19 200 000 жителей. При трехпольном хозяйстве достаточно 78 десятин на продовольствие 100 человек населения. Считая во Франции только 23 миллиона гектаров хлебных полей, Гаспарен находит, что исключительно трехпольное хозяйство могло бы кормить во Франции 32 700 000 жителей. Но при всяком улучшении в системе возделывания земли, количество пищи, доставляемой известным пространством, колоссально возрастает. Даже при нынешнем развитии земледельческого искусства есть такие севообороты, которые дают продуктов в 10 и больше раз против трехпольного хозяйства. Гаспарен вычисляет сбор, получаемый от следующего четырехлетнего севооборота: 1) картофель, 2) пшеница, 3) клевер или вика, 4) пшеница. Он находит, что 100 гектаров нивы при такой системе хозяйства дают пищу для 931 человека (то есть 100 десятин для 1 160 человек); полагая, что только 28 миллионов гектаров, то есть только половина земли во Франции, была бы удобна для такого севооборота, Франция, по вычислению Гаспарена, могла бы кормить с таким хозяйством 260 миллионов человек.

происшедшими прямо или косвенно из государственного дохода, и чаще всего получаются через прямой подарок части дохода от государя.

Правитель такого общества, богато снабдив самого себя и всех, к кому расположен, и набрав на свое прокормление столько солдат, сколько кажется ему нужным для его безопасности или блеска, имеет остаток, которым может располагать и который он с удовольствием обменивает на предметы роскоши, соответствующие его наклонностям; такой же остаток имеют люди, обогащенные его благосклонностью или собиранием государственных доходов. Таким образом, является запрос на изысканные и дорогие товары, сообразные с небольшим, но богатым рынком. Этот запрос часто удовлетворяется почти исключительно купцами более развитых обществ; но часто порождает и в самой стране сословие мастеровых, доводящих некоторые изделия до полной степени совершенства, какое может производиться терпением, сообразительностью, наблюдательностью и искусством рук без значительных знаний о качествах предметов; таковы, например, некоторые индийские хлопчатобумажные изделия. Эти мастеровые содержатся тою излишнею пищею, которая взята правительством и его агентами, как принадлежащая ему часть продуктов. Форма дела так буквально соответствует его сущности, что в некоторых странах мастеровой не берет, как у нас, свою работу домой и не получает за нее плату по ее окончании, а, напротив, идет с своими инструментами в дом человека, делающего заказ, и получает от него пищу во время работы. Но небезопасность всякого имущества при подобном положении общества располагает даже богатейших покупателей отдавать предпочтение таким товарам, которые не могут портиться и имеют большую ценность при малом объеме, которые поэтому легко прятать или уносить с собою. Потому золото и драгоценные камни составляют значительную часть богатства этих наций, и у богатого азиатца почти все его состояние часто бывает надето на нем и на женщинах его гарема. Никто кроме государя не думает обращать свое богатство в собственность, которую нельзя унести. Но государь, чувствующий себя прочным на престоле и надеющийся передать престол своим потомкам, передает иногда вкусу к долговечным зданиям и сооружает пирамиды или Секундский мавзолей и Тадж-Мегал<sup>7</sup>. Грубые изделия, назначаемые для земледельцев, производятся сельскими мастерами, которые вознаграждаются землею, беспощадно отдаваемою в их пользование, или получаемую в натуре частью из той доли жатвы, которая оставлена поселянину правительством. Есть при этом состоянии общества и торговый класс; его составляют два разряда купцов: одни торгуют хлебом, другие деньгами. Хлебные торговцы покупают хлеб обыкновенно не от производителей, а от чиновников, которые, собирая доход натурою, охотно уступают другим заботу доставлять его в те места, где подле государя собраны главные его гражданские и военные сановники, главные массы его войск и мастеровые, удовлетворяющие надобностям этих разных лиц. Торговцы деньгами дают займы несчастным земледельцам, разоренным неурожаем или казенными поборами, деньги на поддержание жизни и на продолжение земледелия, а на следующую жатву получают уплату с ужасными процентами; или, в более широком размере, они дают займы правительству и лицам, которым оно уступило часть своего дохода; вознаграждаются они получением уплаты от чиновников, собирающих доходы, или получением в свое владение известных округов, доходами с которых уплачивался бы долг; для этого им обыкновенно передается значительная часть правительственной власти, которую они пользуются пока округи будут выкуплены, или доходами с них ликвидируется долг. Таким образом, коммерческие операции того и другого класса торговцев имеют своим главным материалом ту часть продуктов, которая составляет доход правительства. Из этого дохода периодически уплачивается их капитал с прибылью, и тот же самый доход был почти единственным источником, из которого произошел их первоначальный капитал. Таково в общих чертах экономическое положение почти всех азиатских земель, существовавшее в них со времен, предшествовавших началу достоверной истории, и продол-

жающее существовать донныне в тех из них, где не изменилось оно от иностранных влияний.

Не таков был ход дел в тех земледельческих обществах древней Европы, раннее состояние которых хорошо нам известно. Почти все они при своем начале были маленькими городскими обществами; при основании их в стране не занятой или в стране, из которой были изгнаны прежние жители, земля, бравшаяся в собственность поселенцев, была правильно разделяема равными, или почти равными, участками между семействами, составлявшими общество. Иногда был не один город, а союз нескольких городов, занятых людьми, которые считали себя происходящими от одного племени и поселившимися в стране около одного и того же времени. Каждая семья производила сама свою пищу и материалы для своей одежды, из которых ткались, обыкновенно женщинами, грубые изделия, удовлетворявшие тому веку. Налогов не было никаких, потому что или не было чиновников, получавших плату, или плата этим чиновникам производилась продуктами назначенной для того части земли, которую обрабатывали рабы в пользу государства, а войско состояло из общества граждан. Таким образом, все продукты земли принадлежали без всякого вычета семейству, ее возделывающему. Пока прогресс событий позволял сохраняться такому положению собственности, состояние общества, по всей вероятности, было недурно для большинства свободных земледельцев, и в некоторых случаях прогресс человечества в умственном развитии был необыкновенно быстр и блистателен при таком состоянии. В особенности происходило это там, где с выгодными условиями племени и климата и при разных благоприятных случаях, всякий след которых потерян, была соединена выгода прибрежного положения у большого внутреннего моря, другие берега которого были уже заняты довольно развитыми обществами. При знакомстве с иностранными продуктами, приобретающимися в такой местности, при легком доступе к иностранным идеям и изобретениям, ослаблялась на этих обществах цепь рутины, столь крепко связывающая необразованные народы. Обращая внимание только на их промышленное развитие, надобно сказать, что они рано приобрели разнообразные и многочисленные потребности и желания, возбуждавшие их извлекать из своей земли всю возможную массу продуктов, какую только умели они извлечь; а когда их земля была бесплодна или когда они уже извлекали из нее все, что можно, они часто становились торговцами и покупали продукты чужих земель, чтобы с прибылью продавать их в других землях.

Но существование такого состояния было с самого начала непрочно. Эти маленькие общества жили в состоянии почти непрерывной войны. К войне было много причин. В более грубых и чисто земледельческих обществах причиною ее часто бывала просто стесненность возросшего населения в их маленькой земле; эта стесненность часто увеличивалась неурожаем, при грубом состоянии их земледелия и при зависимости их в своем продовольствии от одной и притом очень небольшой местности. Когда являлись такие случаи, общество часто эмигрировало всею массою или высылало толпу своей молодежи с оружием в руках искать менее воинственного народа, чтобы выгнать его из его земли или удержать на ней в невольничестве для обработки ее в пользу пришельцев, завладевших ею. Более счастливые племена делали по честолюбию и воинственности то же самое, что менее развитые делали от нужды, и через несколько времени все эти городские общества стали завоевателями или завоеванными. Иногда завоевавшее государство довольствовалось наложением дани на побежденных, которые, неся это бремя, освобождались от хлопот о защите себя сухопутными и морскими силами и, благодаря такому облегчению, могли под своим игом пользоваться значительною долею экономического благосостояния; а победившее общество получало излишек богатства, который могло употреблять на дела общественной роскоши и великолепия. Из такого излишка были построены Парфенон и Пропилеи, дана плата за статуи Фидия, праздновались торжества, для которых писали свои драмы Эсхил, Софокл, Эври-

пид и Аристофан. Но это состояние политических отношений, бывшее, пока длилось, очень полезным прогрессу и высшему интересу человечества, не имело в себе элементов долговечности. Небольшое завоевательное общество, которое не сливается с собою в одно целое свои завоевания, всегда кончается тем, что само подвергается завоеванию. Таким образом всеобщее владычество осталось наконец за народом, знавшим искусство сливать с собою побежденных, за римлянами, которые, какие бы дела ни вели, всегда или начинали или кончали тем, что брали у других народов большую часть земли для обогащения своих главных граждан и принимали в правительствующее сословие главных землевладельцев остальной части. Нет надобности останавливаться на темной стороне экономической истории Римской империи. Неравенство богатства, раз начавшись, гигантски развивается в обществе, которое не занято постоянно тем, чтобы посредством промышленности поправлять несправедливости счастья; меньшие массы богатства поглощаются большими массами. Римская империя оказалась напоследок покрыта громадными поземельными владениями небольшого числа семей, для роскошных удовольствий, а еще больше для тщеславного блеска которых производились самые дорогие продукты, между тем как возделыватели земли были рабами или мелкими фермерами, находившимися в состоянии, близком к рабскому. С той поры богатство империи стало все больше и больше падать; общественных доходов и частных богатств доставало сначала хотя на то, чтобы покрыть Италию великолепными общественными и частными зданиями: но постепенно эти средства до того иссякли под изнуряющим влиянием дурного управления, что остатки их оказывались недостаточными даже для поддержания построенных зданий. Силы и богатства цивилизованного мира сделались недостаточны на удержание напора кочующих племен, опоясывавших северную границу империи; эти племена наводнили империю, и на ее месте возник иной порядок дел.

Европейское общество переформировалось теперь в новый вид. Население каждой страны можно считать при этой форме состоявшим из двух неравных по числу наций и племен — из завоевателей и завоеванных. Завоеватели были собственники земли, завоеванные — возделыватели ее. Этим возделывателям дозволялось пользоваться землею на условиях, созданных насильем и потому всегда обременительных, но редко доходивших до размера полного рабства. Еще в последние времена Римской империи значительная часть сельских рабов перешла в положение, подобное крепостному состоянию: римские «колоны» были скорее крепостные люди, чем рабы в полном смысле; а варвары, завоевавшие империю, по своей неспособности и неохоте к личному управлению промышленными занятиями, неизбежно принуждены были дать земледельцам, в поощрение к труду, некоторую долю фактического интереса в возделывании земли. Если требовалось, чтобы они поставляли в замок разные продукты, нужные на обыкновенное потребление его жителей, если эти реквизиции часто бывали чрезмерны, то все-таки, по исполнении требуемых поставок, им дозволялось свободно располагать всеми оставшимися продуктами, какие они могли собрать. При такой системе крепостным людям в средние века было возможно, как возможно теперь в России (где господствует система, в сущности сходная с этою), приобретать собственность; и действительно, накопленные ими сбережения составляли первоначальный источник богатства новой Европы<sup>8</sup>.

В те века насилья и беспорядка первое употребление, какое делал крепостной земледелец из маленького запаса, накопленного им, состояло в том, чтобы купить себе свободу и удалиться в какой-нибудь город или укрепленную деревню, уцелевшую со времени римского владычества, или, не выкупив своей свободы, скрыться туда. В этом убежище, окруженный другими людьми своего класса, он пытался жить, несколько ограждаясь от притеснений и обид военной касты мужеством своим и своих товарищей. Эти освободившиеся крепостные почти все становились мастеровыми и жили промислом продуктов своей промышленностью на излишек материалов и пищи, доставляемых землею феодальным ее собственникам. Таким образом воз-

никогда к Европе нечто подобное экономическому положению азиатских стран; но разница была в том, что вместо одного азиатского монарха с толпою фаворитов и чиновников, беспрестанно меняемых, в Европе находился многочисленный класс больших землевладельцев, имевший довольно прочную наследственность; они выказывали гораздо менее блеска, потому что каждый из них располагал гораздо меньшим излишком продуктов, и долгое время часть этого излишка расходовалась на содержание свиты телохранителей, бывших необходимыми для безопасности господина по воинственным обычаям общества и по недостаточности охранения, доставляемого правительством. В таком порядке дел было больше постоянства, прочности для личного положения отдельных людей, нежели в азиатской системе, которой оно в экономическом отношении соответствовало, и это было одною из главных причин того, что оно оказалось более благоприятным развитием\*.

\* В числе предубеждений, о которых быть может и надобно сказать, что в них есть некоторая, небольшая, часть истины, но которые без всякого сомнения теоретически несправедливы и практически вредны, когда принимаются за полную и очень важную для практики истину, очень заметное место занимает предрассудок, будто особенные племенные свойства, происходящие от особенностей самого организма, играют очень сильную роль в судьбе народов; будто один народ по самой своей прирожденной натуре, по своей расе, неспособен к тому, к чему способен другой народ также по своей расе. Главною опорой этого ошибочного мнения представляется неподвижность азиатских народов по сравнению с прогрессивностью истории европейских народов. Но тут оказывается, что придают важность гипотезе только по невниманию к фактам, которые или совершенно уничтожают надобность в ней, или оставляют ей очень мало места. Одну из действительных причин разницы в судьбе европейских и азиатских народов указывает Миаль, и конечно, не от массы населения, не от побежденных туземцев зависело то различие, что у германских завоевателей было множество предводителей, а у дикарей, нападавших на азиатские земледельческие страны, только по одному предводителю. Миаль справедливо находит, что эта многочисленность владельцев-завоевателей была одною из главных причин, давших Европе возможность прогресса, которой лишена была Азия сосредоточенностью господства в одном предводителе. Но еще важнее географическое положение. Западная Европа так далека от степей Средней Азии, главного центра, из которого выходят вторгающиеся кочевые народы, что в последние 2000 лет они только один раз успели проникнуть в нее. Орды Чингиз-хана, Тамерлана и османов или вовсе не доходили до Западной Европы, или едва касались ее пределов, просто по отдаленности<sup>9</sup>. Западно-европейское земледельческое население вот уже 1400 лет избавлено от новых наводнений варварства, и в этот долгий период имело время окрепнуть, устроить свои дела<sup>10</sup>. Такого досуга не имели азиатские земледельческие народы. Возьмем в пример Индию и Малую Азию. С X века Индия подвергалась три раза нашествиям, подобным тому, что называется в западной истории переселением народов или завоеванием римских провинций варварами: ее поочередно наводняли газневиды, орды Бабера и, наконец, кочевые орды шаха Надира из Персии<sup>11</sup>. То же было в Малой Азии: после бедуинов явились сельджуцкие турки, потом османы, потом Тамерлан, потом опять османы. Едва успевали расслабеть и несколько цивилизоваться, несколько слиться с завоеванными земледельцами одни дикие завоеватели, едва начинало устраиваться нечто подобное тому положению, к какому пришла Европа в IX и X веках, как являлись новые орды диких завоевателей и повторялась история, которая была с Европою в IV и V веках<sup>12</sup>. Представим себе, что Западная Европа в X веке подверглась тому же, что было с нею в V веке, и что в XV столетии повторилась та же гибель. Велик ли был экономический и законодательный прогресс с V до X века? Все это время прошло почти только в том, что дикие пришельцы V века сливались по национальности с туземцами. Вообразим же себе, что



С той поры экономический прогресс общества был непрерывен. Безопасность личности и собственности постоянно, хотя медленно возрастала; житейские искусства постоянно развивались; грабеж перестал быть главным источником накопления богатств, и феодальная Европа обратилась в коммерческую и мануфактурную Европу. В последнюю половину средних веков города Италии и Фландрии, вольные города Германии, некоторые города Франции и Англии имели большое население энергических ремесленников

надобно было не один раз, а три раза совершиться этому процессу уподобления в последние 1400 лет и что каждый раз, едва он приходил к концу, являлись дикири, при которых дело должно было повторяться с прежнего начала. Какой вид должно иметь экономическое, юридическое и умственное положение туземцев? Несколько раз они выбиваются из рабства и владычества дикости и каждый раз снова низвергаются постороннею силою в гибель насильственного дикого господства. Какое тут влияние их расы? Это просто влияние соседства степей Средней Азии, периодически извергающих на все окружные земледельческие страны потоки варварской лавы. Особенности туземной расы тут ничего не значат, как ничего не значат особенности почвы, слишком близко лежащей к подножию Везувия: она со всеми своими геологическими свойствами постоянно заливается массою совершенно грубою, истребляющею всякую растительность; проходят века, лава начинает выветриваться, живая сила природы начинает покрывать ее слоем, удобным для человеческой жизни, — но уже стремится новый поток прежней огненной лавы, сожигающий все, успевшее вырасти, одевающий все каменным саваном. А на двадцать верст дальше, второму и следующим потокам не удалось добраться, и люди в этих местах, воспользовавшись более долгим сроком, уже успели построить стены, прокопать рвы, через которые уже не перельется до них лава, если бы и устремилась когда-нибудь в их далекие от кратера места. После этого вы можете толковать о различии западно-европейских рас от какой-нибудь, например, персидской расы; мы, романские, германские, славянские народы способны к цивилизации по своей расе, а вот персияне до сих пор не умели выбиться из положения, какое у нас было в VII или IX веках; стало быть, их раса не способна или менее способна. Но ведь это просто смешно. Персияне, например, ветвь одной расы с западными европейцами, и филологи доказали, что разница между персидскою ветвью и немецкою ветвью менее велика, нежели между немецкою и романскою. Вспомним, что Лейбниц, никогда не имев понятия о персидском языке, был в состоянии понимать по целым стихам и даже целым двустушиям в персидских стихотворениях просто оттого, что был немец. По-французски или по-испански немец не поймет и двух слов кряду, если не знаком с этими языками. Например, слово дочь только в персидском и в немецком сохранило коренное сочетание звуков ХТ перед окончанием Р, также исчезнувшим, например, у нас и также одинаково сохранившимся в немецком и персидском в словах, относящихся к ближайшему родству.

	Нем.	Англ.	Перс.
дочь	tochter	daughter	дохтер
брат	bruder	brother	бродер

В одном персидском окончании неопределенного наклонения одинаково с немецким и греческим Н, — латинская и славянская расы отдали преимущество другим окончаниям: персидское — рашиден (ехать, приезжать) немецкое — *reisen*. Этимологическая и синтаксическая структура нынешнего персидского языка совершенно такая же, как в английском языке: нет во всем индо-европейском семействе двух языков более сходных в этом отношении. Если рассматривать коренные филологические черты, персидский язык до того близок к языку немецкого племени, что представляется как будто одним из германских наречий, как будто чем-то средним между верхне-

и много богатых граждан, имущество которых было приобретено через мануфактурную промышленность или через торговлю продуктами ее. Общины Англии, третье сословие Франции и вообще буржуазия континента составились из потомков этого сословия. Они были сословие сберегающее, а потомки феодальной аристократии — сословие расточающее, потому буржуазия постепенно заменила аристократов во владении значительною частью

германским (собственно так называемым немецким) и англо-саксонским (английским) наречиями немецкой ветви индо-европейского семейства языков. (Конечно, мы говорим о самых основных, древнейших, оригинальнейших особенностях, свидетельствующих о коренном особенно-близком родстве персидской и немецкой расы. Тысячелетняя разлука, поставившая эти две отрасли в разных соседствах, дала разное направление дальнейшему развитию их языков, и теперь, по общей совокупности филологических признаков, немецкие наречия приняли характер европейской, а персидский язык — азиатской ветви индо-европейского семейства языков. Тот и другой заняли в филологическом порядке такое же положение, какое издавна стало принадлежать говорящим ими народам в географическом отношении по распределению местностей, населенных индо-европейцами: персидский язык занимает средину между индийскими наречиями санскритского корня с одной стороны и славянским языком с другой стороны; немецкий язык занимает средину между славянским и романским. Славяне, вошедши в середину между персиянами и немцами по географии, стали средним между ними народом по языку)<sup>13</sup>.

Мы говорим все это к тому, чтобы ослабить слишком сильное расположение к приписыванию коренного значения расе народа в его судьбе. Сам Милль подает повод сделать такое замечание, довольно часто употребляя слово племя, как будто придавая важность физиологическим природным особенностям организма разных народов в их экономической судьбе. Подражая ему в осторожности, мы не скажем, чтобы раса не имела ровно никакого значения; развитие естественных и исторических наук не достигло еще такой точности анализа, чтобы можно было в большей части случаев безусловно говорить: тут этого элемента абсолютно нет. Почему знать, быть может, в этом стальном пере есть частицы платины; абсолютно отвергать этого нельзя; можно знать одно: по химическому анализу, в составе этого пера оказывается такое количество частиц, несомненно не платиновых, что совершенно ничтожна часть, которая может принадлежать платине в его составе; и если бы эта часть существовала, на нее нельзя обращать никакого внимания с практической точки зрения. А кто судит по наружности, тот, пожалуй, примет перо за платиновое. Выбросьте из головы это предположение, если дело идет о практическом действии; поступайте с этим пером, как надобно вообще поступать с стальными перьями.

Точно так же, не обращайтесь в практических делах внимания на расу людей, поступайте с ними просто как с людьми; делайте то, что надобно делать для удовлетворения потребностям просто человеческой природы, и вы получите результаты, каких надобно ожидать от природы человека. Быть может, раса народа имела некоторое влияние на то, что известный народ находится ныне в таком, а не в ином состоянии; абсолютно нельзя отвергать этого, исторический анализ еще не достиг математической, безусловной точности; после него, как и после нынешнего химического анализа, еще остается небольшой, очень небольшой *residuum*, остаток, для которого нужны более тонкие способы исследования, еще недоступные нынешнему состоянию науки; но этот остаток очень мал. В образовании нынешнего положения каждого народа такая громадная часть принадлежит действию обстоятельств, не зависящих от природных племенных качеств, что если эти особенные, различные от общей человеческой природы качества и существуют, то для их действия оставалось очень мало места, неизмеримо микроскопически мало места. Человек, двое суток не евший, с жадностью бросается на пищу, — быть может, он от природы обжора, но я об этом

земли. Этот натуральный ход в некоторых случаях замедлялся законами, составленными с целью удержать землю за фамилиями владельцев ее, в других случаях ускорялся политическими переворотами. Постепенно, хотя медленнее, сами земледельцы во всех цивилизованных странах вышли из рабского или полу-рабского состояния: впрочем, при одинаковости этой главной черты, положение их и в юридическом и в экономическом отношении чрезвычайно различно у разных наций Европы и в великих обществах, основанных потомками европейцев за Атлантическим океаном.

В мире ныне есть много обширных стран, имеющих разнообразные элементы богатства в такой степени изобилия, которой даже не могли себе вообразить люди прежних веков. Без обязательного труда ежегодно извлекается из земли громадное количество пищи, которым содержится, кроме людей, производящих его, такое же, а иногда и большее число работников, занятых производством бесчисленно разнообразных предметов надобности и роскоши или перевозкою их с одного места на другое, также множество лиц, занятых управлением и надзором по разным делам; а кроме всех и выше всех этих людей находится еще класс, более многочисленный, чем в самых роскошных древних обществах, состоящий из людей, занятия которых не прямо производительны, и из людей без всякого занятия. Пища, собираемая теперь, кормит на данном пространстве население гораздо более значительное, чем когда-либо прежде (по крайней мере в тех местах) и кормит его без периодически повторяющихся случаев голода, столь частых в прежней истории Европы и до сих пор не редких в восточных странах, так что оно имеет пищу всегда верную. Много увеличившись количеством, пища много улучшилась качеством и разнообразием; предметы удобства и роскоши уже не ограничиваются небольшим богатым классом, а проникают в большом изобилии во многие общественные слои, из которых каждый следующий шире предыдущего. Совокупные средства каждого из этих обществ обнаруживают размер невиданный прежде миром, когда выказываются для достижения какой-нибудь цели; каждое общество в небывалых прежде размерах может содержать флоты и армии, производить общественные работы для украшения или пользы, совершать национальные акты благотворительности вроде выкупа вест-индских невольников<sup>14</sup>, основывать колонии, давать образование своему населению, словом сказать, делать все, требующее издержек, и притом делать все это, не отнимая предметов необходимости или существенного удобства у своего населения.

По всем таким чертам, вообще характеризующим новые промышленные общества, эти общества очень различны между собою. Все они изобилуют богатством сравнительно с прежними веками, но степень изобилия в них очень различна. Даже из тех стран, которые справедливо считаются богатейшими, одни больше других воспользовались своими производительными средствами и получили пропорционально своей территориальной обширности большее количество продуктов. Кроме этого различия по количеству богатства, есть разница и по скорости его возрастания. Различие в распределении богатства еще больше, нежели в его производстве. Положение беднейшего класса в разных странах очень различно; также различны пропорции числа и богатства классов, находящихся выше этого беднейшего. Много различия встречаем даже в характере классов, между которыми первоначально делятся продукты земли в разных местах. В некоторых странах землевладельцы составляют особый класс занимающихся промышленностью; в других местах собственник земли почти всегда ее возделыватель, владеющий плугом, если не сам ходящий за ним. Где собственник не сам воз-

не могу судить по факту, мною замечаемому; этот факт произведен двудневным голодом, а не личными особенностями; я решительно еще не знаю, отличается ли он по своей натуре от людей самых воздержных, и если вы, так же как и я, знающие о нем только один этот факт, хотя заикнетесь об обжорливой природе этого человека, я имею полное право остановить вас словами: не клеветайте.

делывает землю, там иногда есть между ним и работником посредник, фермер, делающий затраты на прокормление работников, владеющий орудиями производства и берущий себе, за уплату ренты землевладельцу и жалованья работникам, весь продукт; в других местах продукт делится между землевладельцем, его наемными поверенными и работниками. Мануфактурные изделия также производятся в некоторых местах людьми, работающими поодиночке: они сами владеют инструментами и машинами, для них нужными, или берут их в наем, и употребляют на работу почти только тот труд, каким располагает их собственная семья. В других случаях производство ведется большим количеством людей, работающих вместе, в одном здании, при помощи дорогих и многосложных машин, принадлежащих богатым мануфактуристам. То же самое различие находится в торговле. Оптовые операции везде ведутся большими капиталами, где существуют большие капиталы; но розничная торговля, занимающая очень большую массу капитала, иногда ведется в маленьких лавках, почти только личными хлопотами самих торговцев с их семьями и разве еще какого-нибудь одного ученика; иногда напротив, ведется она в обширных заведениях, капитал которых представляется отдельным богачом или целой компанией, и дело в которых производится многочисленными наемными приказчиками и приказчицами. Кроме этих различий в экономических феноменах по разным частям так называемого цивилизованного мира, разнообразие увеличивается тем, что в разных частях мира продолжают до нашего времени существовать все те разные экономические состояния, о которых мы говорили прежде. Охотничьи общества еще существуют в Америке, кочевые в Аравии и в степях северной Азии; восточное общество в существенных чертах остается таким, каким всегда было; обширная Русская империя до сих пор во многих отношениях остается едва измененным подобием феодальной Европы. Все великие типы человеческого общества продолжают существовать, понижаясь до ескимосского или патагонского общества.

Эти замечательные различия в состоянии различных частей человеческого племени по отношению к производству и распределению богатства, должны, подобно всем другим феноменам, зависеть от причин. Приписывать их исключительно различию в степенях знания о законах природы и физических житейских искусствах было бы объяснением недостаточным. Тут есть также действие многих других причин; самый прогресс естественных знаний и неравное их распределение, будучи отчасти причинами, служат отчасти следствиями состояния, в каком находится производство и распределение богатств.

Насколько экономическое состояние наций зависит от положения естественных знаний, оно составляет предмет естественных наук и основанных на них искусств. Но насколько оно зависит от причин нравственных или психологических, производимых учреждениями и общественными отношениями или качествами человеческой природы, исследование о нем принадлежит не естественной, а нравственной и общественной науке и составляет предмет того, что называется политической экономией.

Производство богатства, получение средств к человеческому существованию и удовольствию из материалов, представляемых земным шаром, — это дело, очевидно, не зависящее от произвола. Оно имеет свои необходимые условия. Из этих условий некоторые принадлежат материальному миру, зависят от качеств материи или, лучше сказать, от объема знания об этих качествах, принадлежащего данному месту и времени. Этим условиям политическая экономия не исследует, а берет их как готовый факт, объяснений которого велит искать в естественной науке или ежедневном опыте. Соединяя с этими фактами внешней природы другие истины, относящиеся к человеческой природе, она старается найти вторичные или производные законы, которыми определяется производство богатства и в которых должно содержаться объяснение различий богатства и бедности в настоящем и прошедшем и должно лежать основание всему тому приращению богатства, которое произойдет в будущем.

Законы распределения не безусловно изъяты от произвола: они отчасти создаются самими людьми, потому что способ распределения богатства в данном обществе зависит от господствующих в нем постановлений и обычаев. Но если правительства или нации имеют власть определять, какие должны существовать учреждения, то они не могут произвольно определять, в каком направлении будут действовать эти учреждения. Условия, от которых зависит власть правительств или наций над распределением богатства, и влияние, оказываемое на его распределение разными системами действий, принимаемыми обществом, составляют точно такой же предмет точного научного исследования, как физические законы природы.

Законы производства и распределения и некоторые из их практических последствий составляют предмет нашего трактата.

Если бы мы захотели теперь же изложить все замечания и дополнения, делаемые нашими учителями к мыслям, находящимся в этом введении, мы должны были бы написать здесь целые сотни страниц, потому что предварительные замечания Милля касаются многих важнейших вопросов, от решения которых в том или ином духе зависит характер всей системы, и некоторые из этих вопросов решаются Миллем или неполно, или даже вовсе ошибочно. Но удобнее будет, не перерывая перевода слишком длинными вставками с первых же страниц, отложить до разных специальных глав о том или другом предмете наши замечания о нем, а здесь обратить внимание лишь на те понятия, которые необходимо разъяснить до начала исследований о каком бы то ни было отдельном вопросе науки.

Прежде всего подумаем о первом слове, какое произносит Милль. Это слово «богатство». Если хотите, речь о предмете можно начинать с какой угодно стороны предмета, в каком бы духе ни хотели вы говорить о предмете. Но такие случаи бывают лишь тогда, когда вы имеете какое-нибудь особенное намерение, случайное, чуждое самому предмету. Если, например, автор ищет популярности, он может начать с вопроса, занимающего умы в данную минуту, чтобы им приманить читателя. Он может начать с какого-нибудь спорного вопроса, если излагает предмет в полемическом тоне. Но никаких подобных, случайных и внешних целей нет у Милля. Он излагает предмет самым спокойным, чисто ученым тоном и не ищет эффектов для привлечения публики, полагаясь исключительно на внутреннее достоинство своих исследований. В таком случае характер начала имеет существенную важность для суждения о книге, потому что началом берется основное понятие науки по мнению автора; он начинает тою идеею, которая в самом деле господствует над всем его взглядом на науку, говорит прежде всего о том, что важнее всего.

Итак, по теории, излагаемой Миллем, владычествует над всем понятие богатства, *wealth*. Это слово первое написано и основателем теории, Адамом Смитом. Когда вы берете первую и основную книгу этой школы, книгу Смита, вы читаете заглавие



«Опыт о богатстве наций», *Essay on the wealth of Nations*. Слово *wealth* на английском языке имеет тот же самый оттенок значения, как у нас слово «богатство»; это не благосостояние, а именно богатство. Всмотримся ближе в его смысл. Богатство — понятие чисто относительное, в нем нет самостоятельной внутренней меры для предмета, а есть только вывод о превосходстве над другими сравниваемыми предметами. Человек терпит или не терпит нужду, благосостоятелен или неблагосостоятелен не по сравнению с другими, а сам по себе. Масштаб тут дается природою человека, как дается он для понятий здоровья, правды, ума и других положительных качеств и положений. Сравняйте с кем угодно, или не сравнивайте ни с кем сытого человека, или человека, которому тепло, или человека, которому приятно, вы все-таки скажете, что он сыт, что ему тепло или приятно. Признание его богатым — дело совершенно иного рода. Владелец нескольких тысяч десятин хорошей земли — человек очень богатый по сравнению с работником, пашущим его землю; но он совершенно ничтожный бедняк по сравнению с Ротшильдом. Афины во время Перикла<sup>15</sup> были государство очень богатое, т. е. по сравнению с другими тогдашними греческими государствами; а по сравнению, не говорим уже с Лондоном, а хотя с нынешним Гамбургом, богатство Афин оказывается просто нищетой. Понятие богатства есть нечто случайное, внешнее, относящееся своим смыслом собственно не к тому предмету, к которому относится формою речи, а к посторонним предметам: своего содержания в нем нет. Но, скажут нам, наука дает ему свое определение, смысл не сравнительный, не относительный, а прямой и положительный. Вот в том-то и дело, что, приислав ему новый и в сущности более разумный смысл, она тотчас же начинает запутываться в этих двух смыслах и к довершению всего даже не замечает, что приисланный ею смысл существенно различен от разговорного. Милль, например, прямо говорит, что каждый и без науки знает, что такое понимается в науке под словом «богатство»; это каждому известно из разговорного языка. Нет, из разговорного языка известно вовсе не то. Наука понимает под богатством сумму вещей полезных или приятных, имеющих меновую ценность. Тут, как видим, дело состоит в качествах вещей, а не в их количестве; когда их много, богатство велико; когда их очень мало, богатство очень мало, но оно все-таки богатство, как золото все-таки золото, хотя бы его была одна блеска, не стоящая гроша. Капитан Копейкин, имея ассигнационный банк из нескольких синюг и серебра-мелочи, имел, по выражению науки, богатство; но по мнению компании, слушающей повесть о нем, эти синюги составили бы богатство лишь тогда, если б к ним приложить тысяч сорок.

В житейском языке богатство относится не к качеству, а исключительно к количеству вещей. Это понятия столь же раз-

личные, как понятия о сытом и одаренном прожорливостью, как понятия о взрослом человеке и высоком человеке, как понятия о здоровье и о богатстве.

Школа Смита не замечает этой двойственности, в соответствии с которою через всю теорию школы проходит раздвоение понятий и беспрестанное спутывание одной системы воззрений, чисто научной, идущей к корню вещей, с другою системою, принадлежащею разговорному языку и поверхностному образу мыслей людей, не привыкших к отвлеченному мышлению.

Мы постепенно увидим, как проявляется эта раздвоенность воззрения, эта спутанность несовместных между собою понятий, по каждому частному вопросу в смитовской системе, какую односторонность, шаткость и непоследовательность производит она во всей смитовской теории; а теперь покажем только ту шаткость, которая вносится в направление смитовской теории именно раздвоенностью понятия о богатстве, принимаемого в ней.

Если «богатство» есть понятие положительное, а не сравнительное, если словами «исследование о способах и условиях увеличения богатства» обозначается только изыскание об увеличении массы полезных и приятных вещей, тут еще ничего не предопределяется о содержании законов, какие должны быть найдены для распределения богатства, науке не ставится обязанностью непременно доказать такую, а не иную мысль, наука сохраняет свою зависимость только от истины, не подчиняется каким-нибудь наперед составленным гипотезам. Это понятие научное, оно доставляет науке роль, приличную для нее.

Но если это научное понятие смешивается с другим, взятым без проверки из господствующих мнений, наука попадает в зависимость от наперед составленных предубеждений. Если богатство есть понятие относительное, если «исследование о способах и условиях увеличения богатства» значит изыскание об увеличении числа богачей, людей превосходящих массу своих сограждан количеством имущества, или об увеличении богатства каждого из этих людей, то есть, об увеличении размера разницы между его имуществом и состоянием массы, этим уже предопределяется для науки, что она должна выставить нам за истину именно вот это, а не что-нибудь иное, тут уже определяется наперед, что громадная разница между членами общества по имуществу есть нечто неперменное, неизбежное, безусловно-истинное.

Первое понятие говорит науке: ищи истину; второе уже наперед прибавляет: доказывай необходимость и пользу неравенства. Эти требования совершенно разные, несовместные, непримиримые. Известное мнение может быть справедливо или несправедливо, это еще неизвестно, пока оно не исследовано наукою; но если бы даже и оказалось оно истинным по исследованию, то вперед, прежде исследования налагать на науку обязанность непременно подтвердить это мнение, значит приступать к ней с на-

мерениями непригодными для науки, делать ее служительницей не истины, а личных наших желаний или гипотез. Это не годится.

Мы увидим, что вывод, к которому приходит наука под влиянием первого, научного требования, несовместен с выводом, который предписывается ей подтверждать вторым, ненаучным требованием. Формы распределения, требуемые понятием о богатстве как о превосходстве одних над другими, несовместны с формами производства, проистекающими из понятия о богатстве, как о состоянии положительном, измеряемом потребностями человека, а не превосходством его по имуществу над другими. Смитовская теория запутывается в этом разноречии.

Чтобы избежать такой сбивчивости, мы должны помнить, что задача науки не разыскивать способ к увеличению разницы между людьми или к увеличению числа людей, превосходящих массу, а просто искать условия, при которых увеличивается количество полезных вещей, принадлежащих людям. Если эту сумму полезных вещей вам угодно назвать богатством, вы можете говорить, что цель науки — исследование законов богатства; но в таком случае вы должны уже помнить, что вы даете слову «богатство» смысл совершенно различный от его смысла в обыкновенном разговорном языке; вы должны уже ежеминутно стеречь за самим собою, чтобы ваша мысль не изменила научному смыслу термина, не поддавалась, позабывшись, разговорной рутине.

Если же вам кажется, что это натянутое положение затруднительно и опасно, то надобно вместо определения, подвергающего ему, поискать другого определения, которое не вело бы к спутанности понятий, не давало бы словам натянутого смысла, несогласного с разговорным, привычным их смыслом. Если так, то яснее и точнее будет вместо «политическая экономия есть наука о богатстве» сказать:

политическая экономия есть наука о материальном благосостоянии человека, насколько оно зависит от вещей и положений, производимых трудом.

Это определение гораздо сообразнее с разъяснениями самого Милля, нежели то, при котором он остается по преданию.

Оно требует разве одного только замечания: обыкновенное определение предмета политической экономии в смитовской школе указывает на меновую ценность, как признак вещей, подлежащих исследованию этой науки. Это ограничение предмета очень верно, но оно заключается и в принимаемом нами определении, потому что меновая ценность собственно принадлежит только вещам, производимым трудом.

Отлагая до разных глав следующих книг разные объяснения о многих частных вопросах, затрагиваемых «Предварительными замечаниями», мы обратим теперь внимание на второй из главных предметов, излагаемых в этом введении. Разъяснение вопроса о том, что должно считаться богатством, приводит Милля

к разоблачению ошибочности меркантильной системы. Все, что он говорит о ней, прекрасно, а сама меркантильная система действительно очень плоха. Но зачем он так торопится поразить эту нелепость? Разве она так вредна для Англии, так господствует над мнениями публики, для которой пишет Милль, что необходимо прежде всего убить этого страшного дракона, не впускающего англичан в святилище науки, вход в которое загражден его безобразным телом? Вовсе нет. Английская публика вся кричит теперь о нелепости меркантилизма; задолго до 1857 года, когда напечатано издание книги, по которому делается наш перевод, самая отсталая из политических партий публично и искренно отреклась от меркантилизма устами д'Израили и Дерби<sup>16</sup>. Меркантилизм теперь так же безопасен для Англии, как для нас какая-нибудь удельная система или Батыева орда. Это — враг, умерший для Англии, хранящийся там только в археологических музеях. Сам Милль говорит, что при объяснении меркантильной системы единственным затруднением представляется вообразить, что подобная глупость могла некогда приниматься за истину. Если так, зачем же давать такое передовое место рассуждению о безвредном археологическом вздоре? Это просто оттого, что так уже заведено со времени Адама Смита. Во время Адама Смита меркантильная теория господствовала над умами, борьба с нею была делом первой необходимости. Прошло восемьдесят лет, образ мыслей публики совершенно изменился, ни у кого в Англии не осталось охоты защищать меркантильную систему, а политическая экономия продолжает горячиться против врага, давно рассыпавшегося прахом, и ломиться в дверь давно растворенную. Давать в предисловии к политико-экономическому трактату, написанному для английской публики, видное место рассуждению о меркантильной системе, значит решительно то же, что в трактате о русской истории, писанном для русской публики, тратить место на опровержение мнений Морошкина или Савельева-Ростиславича о славянском происхождении франков и англо-саксов<sup>17</sup>. Сто лет тому назад, во времена Тредьяковского и Сумарокова, русская публика действительно полагала, что славянский язык — отец всех языков и что все народы происходят от славян, т. е. от русских, и даже собственно от жителей Москвы; тогда действительно было нужно жарко и подробно опровергать эту дику фантазию. Но что за охота, что за польза убиваться теперь спорами против нее?

Это все мы говорим потому, что с первых же страниц каждой книги смитовской системы веет чем-то, быть может и очень хорошим, но совершенно затхлым. Перед вами как будто происходит Куликовская битва или состязание Ломоносова с Миллером<sup>18</sup>, спора нет, Дмитрий Донской был великий человек, подобно Александру Македонскому, но ведь это археология, а не современность.

Но как, по выражению Милля, есть некоторое действительное основание даже для нелепой меркантильной теории, потому что, по его же справедливому выражению, каждый факт, каждое мнение имеют какое-нибудь основание, так и для допотопной борьбы своей с меркантильною системою смитовская теория имеет действительно основание. Жаль только, что надобно и об этом деле повторить слова Милля о самой меркантильной системе: основание хотя и существует, но очень неудовлетворительное; надобно даже сказать, что это основание компрометирует систему смитовской школы. Если мы сами окончательно разделились внутри себя с каким-нибудь заблуждением, мы уже говорим о нем лишь тогда, когда встречаемся с людьми, над которыми оно господствует; если же мы толкуем о предмете, не разбирая того, интересен ли он для наших собеседников, нужно ли разоблачать перед ними заблуждение или они сами давно поняли его ошибочность и убеждать нам некого, потому что все убеждены, — словом сказать, если мы страдаем, по выражению Щедрина, духом словоизвержения<sup>19</sup> по какому-нибудь вопросу, это просто значит, что мы сами еще не отделались окончательно от заблуждения, ратование против которого так занимательно для нас. Действительно, таково до сих пор отношение смитовской теории к меркантильной системе: она страдает сама меркантильным недугом, засевшим в ее костях. Издали она кажется как будто чиста, но всмотритесь поближе и вы увидите, что ей нужно проглотить еще очень много ртути для выздоровления. А быть может, ее силы уже и не вынесут таких сильных приемов, и она должна скончаться от наследственных язв, которые открыто красовались на лице меркантильной системы, но ушли внутрь в теории Смита.

В чем сущность, вредная и нелепая сущность меркантильной доктрины? Она придает слишком большую важность деньгам, как средству обмена. Посмотрите же на теорию Смита: она придает такую же чрезвычайную и исключительную важность самому обмену. Обмен в ней, как будто нечто самостоятельное, как будто нечто, составляющее конечную цель всех забот производителя, властвует и над производством и над распределением. При таком размещении понятий, деньги и кредит, их заменяющий, натурально должны занимать чрезвычайно важное место в смитовской теории. Очень многими писателями вся она сводится почти исключительно к теории денежных и кредитных оборотов<sup>20</sup>. Милль избегает такой узкости, господствующей у французских экономистов, у него существенно важным элементам науки посвящено гораздо больше внимания; но и у него, как увидим, коренной смысл дела беспрестанно затемняется впутыванием примесей, чисто меркантильных по духу, и он также очень часто останавливается на второстепенных, производных наружных явлениях, не углубляясь до основных фактов. А между тем, сам же он доказывает, что деньги



ровно ничего не должны значить в теории производства и распределения, что самый кредит, когда служит просто представителем денег, не очень важен. С ним, пожалуй, готовы согласиться в этом все экономисты; они признаются, что если бы при усилившейся деятельности обмена не было никаких кредитных знаков, дело пошло бы почти совершенно в том же размере просто посредством ускорения в обращении денег. А что деньги ничего не значат в национальном хозяйстве, это они все очень усердно доказывают.

Зачем же в одних частях теории придается огромная важность таким элементам, неважность которых доказывается в других частях той же теории? Откуда это внутреннее разноречие? И зачем во всех частях теории беспрестанно впутываются соображения, основанные на великом значении денег и нынешнего кредита, ограничивающегося ролью представителя денег? Зачем эти непоследовательные соображения затемняют коренную сущность дел? Все это наследство меркантильной теории, или, лучше сказать, все это отростки того же корня, из которого некогда вырастала она: в предмете, где все зависит от расчета, смитовская теория, подобно меркантильной, забывает довести счет до конца, прекращает счет на половине его, как меркантильная теория прекращала на первой строке; она подвигается несколькими строками дальше, потому подходит несколько ближе к истинному выводу, от которого была неизмеримо далека меркантильная система; но все-таки до настоящего баланса не всегда умеет досчитаться. Меркантильная система останавливалась на факте заграничной торговли; смитовская теория идет несколько глубже и находит, что заграничная торговля только часть обмена вообще. Но собственно на этом она и останавливается: о факте, который лежит в основе всего, о производстве, она говорит много превосходного, но отвращается от расчета отношений между коренными элементами его: человеческими потребностями, количеством рабочих сил и количеством времени, на которое запасено продовольствие. Оттого, что она не держится твердо этого окончательного баланса, все прекрасное, что говорит она о производстве, пропадает бесплодно, и теория распределения выходит в ней не результатом строгого научного анализа, а просто изложением довольно безобразной рутины, материальным основанием которой служит факт завоевания, доньше владычествующего своими последствиями над экономической сферой того положения вещей, нравственную поддержку которому служит невежество масс; а над всем этим возвышается понятие обмена, будто жительного начала, без которого не было бы возможно почти никакое производство.

В двух первых отделах предисловия Милля, о понятии богатства и о меркантильной системе, выказались нам признаки двух качеств смитовской теории: во-первых, признаки раздвоенности

понятий, шаткости, непоследовательности их; во-вторых, признаки рутинности их; третий отдел, история экономического развития обществ, включает в себе места, обнаруживающие третье качество этой теории, служащее опорой для первых двух качеств. Очерк экономической истории сделан у Милля мастерски. История идет медленно, быть может, но все-таки вперед, и с появлением среднего сословия, с возникновением средневековых городов, прогресс был непрерывен. Теперь и пища лучше, чем прежде, и другие предметы удобства или даже роскоши становятся достоянием все большей и большей пропорции членов общества. Превосходно. В этом общий смысл исторического очерка, представляемого Миллем. Прекрасно; жаль только, что впечатление нескольких страниц разрушается двумя несчастными строками, попадающимися на первой из них. Сказав, что состояние дикого общества, не имеющего ни жилищ, ни запасов пищи, есть состояние величайшей бедности, какая только известна нам по истории, Милль прибавляет: но «в обществах гораздо богатейших, есть классы, находящиеся в состоянии столь же незавидном, как эти дикари», несравненно беднейшие всяких эскимосов, якутов и готтентотов. Что ж это такое? С чем это сообразно? Как это возможно? Не знаем; повидимому, это ни с чем несообразно; повидимому, это должно бы было быть невозможно. Но это действительно так.

Этими двумя строками портится все дело. История экономического развития портится фактом, о котором они говорят. А еще хуже для теории, предисловие к которой мы видели, то, что из двадцати страниц она посвятила этому факту ровно две с половиною строки. Больше этого не стоит, видно, говорить о нем: видно, что он не важен, не занимателен, да и больше сказать о нем нечего, как мимоходом упомянуть о нем: нет, видно, никаких особенных средств помочь ему; довольно в двух строках сказать, что есть вот какой факт, выразить сожаление о нем и заняться другими предметами, более важными.

В таком равнодушии виноват не Милль: нет, он еще гораздо лучше всех других последователей смитовской школы. Виновата теория этой школы, построенная так, что в ней нет места для факта, ставшего теперь повсюду главным двигателем истории. Сто лет тому назад, когда она строилась, масса населения, от него страдающая, еще не имела твердой мысли о возможности изменить свое положение. Кто не предъявляет своих требований, из том никто не заботится. Средний класс, которому принадлежит смитовская теория, думал тогда, что простолыдину ничего особенно не нужно, что полным счастьем для народа будет то, когда ему, среднему классу, удастся осуществить свои требования.

Теперь оказалось иное; простолыдины находят, что для прочного улучшения их состояния нужны вещи, которые не

нужны среднему сословию, которые во многом даже несовместны с выгодами среднего сословия. Оно испугалось этих новых требований; борясь против них в жизни, оно старается опровергнуть их в теории. Если это не изменится, если теория, созданная средним сословием, не будет перестроена сообразно потребностям нового, простонародного элемента жизни и мысли, она будет отвергнута прогрессом, уже начавшим быть во вражде с нею. Но речь об этом будет у нас впоследствии <sup>21</sup>, а теперь обратимся опять к переводу Милля.